

«Парадоксы консервативного поворота в России»

11 марта 2020 года

С докладом выступил **Илья Будрайтскис** (МВШСЭН), автор книги «Мир, который придумал Хантингтон и в котором живём все мы. Парадоксы консервативного поворота в России». Книга вышла в свет в издательстве книжного магазина «Циолковский», М., 2020

Дискуссанты: **Анна Нижник** (ИФИ РГГУ) и **Денис Волков** (Левада-Центр)¹.

Обсуждение: **Борис Денисов** (МГУ), **РАН**), **Ольга Здравомыслова** (Горбачев-Фонд), **Борис Ключников** (Школа Родченко) **Татьяна Левина** (НИУ Высшая школа экономики), **Андрей Олейников** (МВШСЭН), **Максим Круглов** (партия Яблоко), **Григорий Кертман** (ФОМ), **Кирилл Новиков** (РАНХиГС), **Андрей Рябов** (ИМЭМО), **Сергей Уткин** (ИМЭМО), **Ленид Хоффман** (Научно-образовательный центр Шенберга)

Илья Будрайтскис. В основе консервативного поворота лежит представление о консерватизме не столько как о сохраняющей, пассивной силе поддержания текущего порядка вещей, но, наоборот, о консерватизме как протестном движении, которое, например, в начале 80-х годов поставило под сомнение существующую модель социального государства на Западе. А сегодня ставит под сомнение либерально-демократический порядок в странах Западной Европы.

Хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел и согласился принять участие в этом Круглом столе. Мне действительно было бы очень интересно вас услышать: и тех, кто прочитал эту книгу, и тех, кто ее не читал, но так или иначе работает с близкими мне темами. Я постараюсь не очень долго

¹ Левада-Центр Минюстом РФ внесен в реестр:
<http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx>;

выступать, может быть, дать самое общее представление о том, в чем заключается мой подход, и о чем эта книга. И затем, собственно, выстроить наше общение, наше обсуждение больше в формате диалога или коротких реплик, а не каких-то таких развернутых, фундированных докладов.

Во-первых, как уже было сказано, в центре моего внимания находится понятие *консервативный поворот*. Это понятие, которое на протяжении последних десятилетий постоянно использовалось на Западе, в Западной Европе, в Северной Америке применительно к тем политическим и социальным процессам, которые происходили в начале 80-х годов в связи с подъемом неоконсерватизма, политики Тэтчер в Британии, политики Рейгана в Америке. И затем в связи с подъемом правых популистов, новых консервативных движений уже в последнее десятилетие.

В основе консервативного поворота лежит представление о консерватизме не столько как о какой-то сохраняющей, пассивной силе поддержания текущего порядка вещей, но, наоборот, о консерватизме как протестном движении, которое, например, в начале 80-х годов поставило под сомнение существующую модель социального государства на Западе. А сегодня ставит под сомнение либерально-демократический порядок в странах Западной Европы.

Такой радикальный консерватизм, безусловно, является новым и перформативным по отношению к тому, что было прежде принято понимать под консерватизмом. Самуэль Хантингтон, имя которого вынесено в заглавие этой книги, в своей известной статье конца 50-х годов выделял два основных типа консерватизма. Это ситуационный консерватизм, то есть консерватизм, который исходит из данного, исходит из того, что, может быть, опознано как привычное и противопоставлено непривычному, новому, реформаторскому, новаторскому и т.д. и консерватизм реакционный. То есть консерватизм, который, реализуя проект возвращения в какое-то идеализированное, утопическое прошлое, выступает против существующего порядка вещей,

противопоставляя ему некий собственный, целостный политический и социальный проект.

Консервативный поворот, о котором мы сегодня говорим, связан именно со вторым типом консерватизма – с реакционным консерватизмом, консерватизмом, который является формой протеста против существующего порядка вещей. И для того чтобы оформить этот протест, для того чтобы сделать его политической силой, он создает определенную коалицию, которую марксистский исследователь тэтчеризма из Британии Стюарт Холл определил как авторитарный популизм. Популизм в том смысле, что неоконсерватизм создавал протестную коалицию, противопоставляющую существующее государство народу, который с этим государством оказывался в состоянии не тождества, который не был представлен в этом государстве.

И эта непредставленность давала возможность лидерам этих новых консервативных коалиций атаковать существующие социальные государства и противопоставлять им некий новый проект, который одновременно был (например, в случае Рейгана и Тэтчер) и радикально-рыночным, неолиберальным проектом, и одновременно был проектом консервативным, проектом, который апеллировал к семейным ценностям, безопасности, национальному величию, борьбе левым или лево-либеральным влиянием и т.д.

Эта социальная коалиция, в которой впервые оказались исторически объединены и сторонники свободного рынка, и сторонники консервативных ценностей, сторонники христианского фундаментализма, и т.д.. представляла собой некое новое слово, новое политическое движение. Оно оказалось возможным за счет того, что *самые различные группы населения – носители самых разных политических ценностей – оказались объединены неким новым здравым смыслом, который был противопоставлен существовавшему на тот момент порядку вещей.*

Это же качество такого популистского, бунтующего, атакующего радикального консерватизма можно найти и в право-популистских движениях последнего десятилетия, в британском Brexit, в электоральном прорыве Трампа в Америке и т.д. Есть огромное количество примеров.

Другой вопрос заключается в том, в какой мере то, что происходит в России в последние два десятилетия, можно сравнить с консервативным поворотом в том виде, в котором он существует в Западной Европе. Это на самом деле большой вопрос. Потому что, конечно, в тот момент, когда Путин пришел к власти, он не выступал в качестве протестного политика. Он не выступал в качестве лидера, который противопоставлял существующему порядку вещей некий иной политический смысл, иной политический проект, который был бы связан с возвращением в прошлое, противопоставленное настоящему.

Тем не менее, *уже в раннем путинизме можно обнаружить элементы социальной коалиции, элементы того нового здравого смысла, который, собственно, лег в основу представления о путинском большинстве, которое одновременно вобрало в себя и сторонников сохранения того постсоветского статус-кво, который существовал на конец 90-х – начало 2000-х годов, но одновременно использовал, безусловно, консервативную ностальгию по советской эпохе. И в то же время апеллировал непосредственно к консервативным ценностям в их классическом понимании.* К консервативным ценностям, которые постепенно превратились в новый политический язык современной России, в котором удивительным образом сочетаются, казалось бы, плохо сочетаемые между собой вещи: апелляция к величию Советского Союза и рыночная составляющая, рыночная рациональность. Последняя в большей или меньшей степени постоянно проявляет себя в риторике современного российского режима. И, собственно, те смыслы и те ценности, которые связаны с российской

интеллектуальной консервативной традицией. С традицией, например, XIX – начала XX века.

И в своей книге, например, я обращаюсь к некоторым сюжетам этой традиции – к Ивану Ильину, Константину Леонтьеву, чьи взгляды, чьи образы оказались интегрированы в существующую, доминирующую консервативную риторику российской власти.

И, наверное, последний тезис, который связан, собственно, с методом.

В своей книге я использую две линии подхода к консерватизму. Одна связана с социологией знания, с Карлом Мангеймом, который предлагал рассматривать политические идеологии, политические утопии как некие образы мира, разделяемые различными социальными группами. И эти образы мира для Мангейма были неразрывно связаны с практическим действием, с практической жизнью.

В этом отношении в самом понятии «идеология по Мангейму» как бы отсутствует такая четкая граница между тем, что можно назвать интеллектуальной традицией или какой-то отвлеченной мыслью, и конкретной политической практикой.

Кроме того, как мне кажется, такой подход к идеологии, который предлагает Мангейм, дает возможность увидеть идеологию или увидеть то, что он называл стилем мышления, в качестве пластичной и гибкой конструкции. Она меняется с ходом времени, может вбирать в себя все элементы, которые раньше не были для нее характерны, и которая создает напряжение и взаимосвязь между политической мыслью, интеллектуальными конструкциями и практической политикой.

И второй подход, который был для меня очень важен, - это подход упомянутого уже Стюарта Холла, подход марксистских культурных исследований, который дает возможность анализировать консервативный поворот с точки зрения политических и социальных коалиций. С точки зрения того, насколько смыслы, идеологические конструкции,

предлагаемые консервативными лидерами, соответствуют реальным социальным кризисным явлениям, которые существуют в том или ином обществе.

Иными словами, насколько консерватизм - мне кажется, это объединяет оба эти подхода – является знаком кризиса, знаком того, что что-то сломалось, что-то не работает. *Эти два подхода дают возможность понимать консерватизм не в качестве ложного сознания, не в качестве заблуждений, не в качестве продукта невежества или ошибок, но в качестве некоего симптома, к которому нужно относиться очень внимательно, который нужно воспринимать максимально серьезно.* И такое серьезное и внимательное восприятие дает возможность нам не только понимать этот феномен, но и ему сознательно и последовательно оппонировать.

Вопросы:

Андрей Олейников. Мой вопрос связан с актуальностью темы, которую мы сегодня обсуждаем. В какой мере можно говорить о том, что нынешний консервативный поворот связан с популизмом?

Илья Будрайтскис. Я не хотел бы очень глубоко погружаться в дискуссию о популизме. Мне кажется, что есть некая проблема как раз с этим термином. Но в целом я, наверное, ответил бы так. Я согласен с подходом Эрнеста Лаклау – важного исследователя популизма, политического теоретика, который говорил о том, что тот или иной элемент популизма является неотъемлемым элементом политики вообще. То есть для любого политического обращения, для любого политического действия характерно постоянное выявление не тождества народа и правительства.

И в этом отношении, конечно, например, для правопопулистских консервативных движений на Западе характерен популизм, характерно подобное утверждение. Однако вопрос заключается в том, какого рода

альтернативу они предлагают. И само по себе определение их как популистских не исчерпывает объяснение их природы и не исчерпывает объяснение того корпуса идей и образов, которые они предъявляют и которые оказываются чрезвычайно действенными и привлекательными.

Другой большой вопрос связан с Россией. Потому что часто встречались такие утверждения о том, что российский режим является популистским.

И, наверное, здесь я бы, скорее, не согласился с таким определением. Потому что популизм всегда предполагает выявление не тождества народа и власти, не тождества народа и государства. В то время как характерным элементом российского консервативного поворота и характерным элементом российской консервативной традиции в принципе начиная с XIX века было постоянное обозначение этого тождества. Потому что на самом деле большинство российского населения делает свой политический выбор не потому что таково его мнение, а потому что таким образом оно лишь подтверждает свою принадлежность к государству, к тысячелетней истории, к наследию предшествующих поколений и т.д.

И, конечно, в этом постоянном обозначении тождества народа и правительства, народа и государства есть прямая антитеза к популистскому подходу.

С другой стороны, постольку поскольку российский режим сталкивался с политическими вызовами, например в 2012 году во время массовых протестов, он неизбежно прибегал к тем или иным популистским фигурам. И в принципе один из тезисов этой книги состоит в том, что именно с 2012 года можно более-менее ясно говорить о консервативном повороте путинского режима. Потому что именно в этот момент возникает фигура молчаливого большинства или морального большинства, которое стоит на стороне власти и противостоит каким-то самодовольным элитарным меньшинствам, которые пытаются навязать большинству свою волю.

И, безусловно, сама фигура консервативного морального большинства – это фигура, которая характерна для консервативного поворота в целом. Она использовалась как раз очень активно в 80-е годы Рейганом и другими консервативными политиками.

Поэтому в этом смысле можно сказать, что поскольку российский режим политизировался, постольку он должен давать какие-то политические ответы, постольку он все больше и больше прибегал к тем или иным популистским фигурам.

Максим Круглов. Илья, скажите, пожалуйста, в пределах обозримого будущего насколько этот консервативный поворот может далеко зайти? Я имею в виду, скорее, страны Западной Европы, Северную Америку. То есть каковы, на Ваш взгляд, пределы этого консервативного поворота, есть ли у него какие-то границы, или это такое явление достаточно безграничное, и оно может стать абсолютным мейнстримом и абсолютно фактом жизни?

Илья Будрайтскис. Это хороший вопрос. Многие ищут на него ответ. На самом деле какого-то однозначного ответа дать бы не мог. Но в принципе в литературе, которую я изучаю, которой более-менее доверяю, присутствуют два типа ответов. Первый связан с тем, что часто правопопулистские движения имеют пустотный характер и способны в себя вбирать программы, которые изначально для них не были характерны. Например, сейчас мы видим, как в Британии после своей сокрушительной победы на выборах британские консерваторы неожиданным образом реализуют часть программы проигравших лейбористов и вынуждены даже изображать реставрацию каких-то элементов социального государства, что для консерваторов прежде не было характерно.

И вообще пример британских консерваторов, радикализовавшихся при Джонсоне в связи с Brexit, является крайне показательным, потому что за ним стоит попытка инструментализации такого бунтующего консервативного протеста.

Один из главных советников Джонсона по фамилии Каменкс очень интересным образом объяснял, почему, собственно, британская консервативная партия предприняла этот консервативный поворот, возглавила движение за Brexit и т.д. Его объяснение сводилось к тому, что в ситуации эрозии традиционных партий и эрозии консервативной партии, - в ситуации, в которой более радикальные силы справа пытаются занять поле консервативной партии и возглавить протест ее традиционного электората, она для того, чтобы сохранить традиционную партийную систему, сама должна радикализироваться.

Поэтому в принципе это может быть одним из вариантов ответа.

Другой вариант ответа, может быть, связанный с практикой других консервативных движений, состоит в том, что да, конечно, они отличаются, например, от фашистских движений 20-30-х годов тем, что они готовы не просто играть по правилам либерально-демократического порядка, но и достаточно успешно использовать этот порядок для собственного усиления. Что не значит, что у них нет своего собственного антидемократического проекта.

То есть мы помним, что для традиционного фашизма 20-30-х годов врагом была сама демократическая система. Сегодняшние правые консерваторы, наоборот, выступают в роли тех, кто возвращает этой демократии ее подлинное, живое содержание. Тем не менее, сложно сказать, насколько это останется справедливым, если они действительно придут в какой-то стране к власти на основе поддержки значительного большинства населения. Есть ли у них свой собственный радикально-консервативный проект трансформации общества или нет, но это покажет время.

Вопрос. Илья, хотелось бы уточнить: любой ли протест против современного мира становится консервативным протестом, и как трактовать каких-нибудь луддитов или анархо-примитивистов, или толстовцев, которые тоже отказываются от плодов прогресса?

Илья Будрайтскис. Я думаю, те примеры, которые приведены, - это примеры эскапистские, антиполитические. Консервативный поворот, о котором мы сейчас говорим, представляет собой политический процесс, через который, собственно, и определяется смысл и содержание условного недовольного большинства. То есть существует ситуация, в которой все большее и большее количество людей в целом чувствуют, что что-то идет не так, что существующий порядок вещей не гарантирует максимального счастья для максимального количества людей, не гарантирует лучшего будущего. И есть разные политические силы, которые пытаются это недовольство артикулировать. Эта артикуляция может быть принципиально разной. Она может быть консервативной, и она может быть, например, левой или социалистической.

То есть речь идет не о том, что существующие правые консервативные движения выражают действительное настроение обычных людей. Но это действительное настроение создается через конкретное политическое противостояние и политическую борьбу. Содержание того или иного большинства определяется политикой, определяется теми, кто предлагает различные проекты этого большинства, различные образы этого большинства.

Поэтому, естественно, когда нам сегодня, например, в России говорят, что существует огромное большинство, которое не хочет перемен, а хочет молиться и честно трудиться, то мы должны понимать, что мы сталкиваемся не просто с пустым образом, не просто с какой-то конструкцией, а с политической идеей, которая определенным образом работает и которой может быть противопоставлена, и должна быть противопоставлена какая-то другая идея большинства.

То есть политика состоит именно в том, чтобы за это большинство, за этот народ бороться и придавать ему какое-то собственное значение, по-иному его переопределять.

Дискуссия

Денис Волков

Понятие популизм объясняет происходящее лучше, чем понятие консерватизм.

Должен сразу сказать, что мне не очень удобно с понятием *консерватизм* и сейчас попробую объяснить, почему. С одной стороны, нужно, конечно, определить: консерватизм мы понимаем как логику или механизм сохранения системы, или как набор ценностей.

Потому что даже при попытке сопоставить российский режим, который относят к консервативному, с другими режимами в мире, не совсем понятно, по каким критериям их сравнивать. Потому что в тех же США, наверное, наполнение консерватизма будет другое, нежели в России. А если мы говорим про сохранение системы, то, скорее, нужно сравнивать российский режим, наверное, с Венгрией, нежели чем с теми же США. Тем более нынешний режим – как я понимаю, нет консенсуса, . можно ли его относить к консервативному или нет.

Вы сказали, что американский режим, скорее, правый популизм. Именно правый популизм, ценности правые и бунт против элиты, против нынешнего положения дел, которые мы наблюдаем и в Brexit, и уже в Соединенных Штатах Америки... Мне кажется, *сочетание популизма и правой идеологии* больше описывает ситуацию, если мы хотим постараться сравнить с другими странами то, что у нас происходит. И в какой-то общий контекст поместить те процессы, которые мы наблюдаем в других странах.

Потому что популизм может быть и правый, может быть и левый. И можно спорить, что вкладывать в это понятие. Но очень часто во главу угла, как я понимаю, ставят именно антиэлитный запрос. И мне кажется, мы его

наблюдаем. Но тогда не совсем понятно, можно ли Россию вставить в этот контекст по этому принципу. Потому что у нас скорее бóльшая часть поддерживает нынешнюю систему и лидера.

Но мне кажется, что механизм поддержки сохранения этой системы, как бы посыл консервативный, а механизмы другие. Я согласен, что с 2012 года действительно можно говорить о консервативной политике. Потому что мы стали больше говорить о ценностях.

Еще один вопрос для меня: насколько эти ценности консервативные? Потому что семья – наверное, да, религия – наверное, да. Но насколько они являются объединяющими? В 2012 году была попытка на основе этих ценностей разделить население и дискредитировать альтернативу путинскому режиму.

Мне кажется, мобилизация идет за счет социальных поправок в Конституцию. Этого хочет большинство и оно готово голосовать за все остальное, и за Путина, и за Госсовет, и за все, что угодно. Главное – чтобы записали в Конституции социальные поправки. Но и в этом случае логика, скорее, популистская. Популистская в том смысле, что да, мы записываем то, чего люди хотят.

Поэтому сейчас уже не совсем понятно, даже если посыл консервативный - сохранение системы, то методы, скорее, другие.

А что касается рынка как ценности, то здесь возникает проблема, поскольку явно это не ценность большинства населения. Потому что, когда людей спрашивают, они, скорее, против рынка. И большинство, скорее, за государство, за укрепление роли государства, за большее присутствие государства в экономике и т.д. Я даже не уверен, что это путинские ценности. Мне кажется, что это какой-то вынужденный и стихийный либерализм. Потому что по-другому просто невозможно.

А если говорить об общественных представлениях, то консервативную риторику я бы, скорее, отодвинул даже еще чуть дальше во времени, в 2008

год, который по нашим исследованиям можно считать zenитом путинского режима, когда большинство голосовали за Медведева как за продолжение путинской стабильности, за сохранение этих достижений. Но эти консервативные представления очень быстро закончились - уже в 2009 году, с кризисом 2009 года.

Мобилизация в 2014 году произошла не на основе ценностей семьи и разговоров о скрепах, а с присоединением Крыма, которое было понято, как признание, что Россия – великая держава. Насколько можно это относить к консервативным ценностям, не готов сейчас говорить. Но мне кажется, что здесь другой был механизм, и он, скорее, был построен на конфликте. То есть 2012 год – это конфликт внутри общества, а 2014 год – конфликт, перенесенный за пределы российского общества. И за счет этого было обеспечено путинское супербольшинство, которое давно переживает процесс эрозии.

Можно поставить вопрос: насколько сегодняшние россияне - консерваторы в своем посыле. Потому что да, большинство по-прежнему готово говорить, что Путин много сделал, мы одобряем его работу, но голосовать за него как за президента на следующих выборах готовы и видят его, скорее, своим выбором, но только треть населения. А остальная треть – против, трети – все равно. И, видимо, население проголосует не за консервативные ценности, которые оно якобы разделяет, а за левопопулистские обещания.

С моей точки зрения, понятие *популизм* объясняет происходящее лучше, чем понятие *консерватизм*. А консерватизм, мне представляется, не так сильно соответствует представлениям большинства населения.

Анна Нижник: *Современный и неолиберальный, и консервативный мир существуют за счет того, что некоторые области человеческой жизни для них находятся как бы под завесой, под водой.*

Я прочитала книгу Ильи. Примерно представляю себе его тезис. Из очень многих точных и важных замечаний, которые есть в книге, больше всего мне понравился этот образ вампира, консервативного вампира, который не читал книжку.

Поясню: речь идет о том, что в XIX веке в качестве персонажа в культуре появляется коварный вампир - некий аристократ, который постоянно подрывает устои буржуазного общества. Такой граф Дракула, который знает, чего люди хотят на самом деле. Он постоянно совершает вылазки и, играя на самых темных, на самых неосознаваемых страхах, предрассудках и обломках культурных традиций, вводит обывателей в искус и за счет них существует.

В качестве противопоставления вампиру - рабочий, я бы даже сказала, что это зомби, скорее. Другая скрытая реальность нашего мира: производство, которое мы не замечаем, индустриальное производство, которое невидимо. Но периодически оно вдруг становится видимым и превращается в революции, в толпы людей из третьего мира, которые стучатся во врата Европы и бунтуют.

Это противопоставление эмоций, эмоциональности и производства (все-таки в марксовом понимании, производства не эмоционального, скорее, а рационального) – это как раз и есть, мне кажется, коллизия между левой идеей и идеей правой, или консервативной идеей, когда нас пытаются вернуть в царство аффектов.

Но мне кажется, что здесь как раз существует некоторая лазейка, которую консерватизм видит и которая представляет для него наибольшую опасность. И лазейка, которая представляет опасность вообще для существующего миропорядка.

Не случайно звучат опасения по поводу семьи. Не случайно звучат опасения по поводу Гейропы, Европы опасной, которая сейчас сто гендеров нам устроит, и мы будем непонятно что делать. Неслучайны и страхи,

которые вызывают коварные женщины, которые угрожают разрушить устои и т.д.

Государство чрезвычайно озабочено гендерной политикой. Когда возникают вопросы: что такого чрезвычайно консервативного сделал Дональд Трамп в Америке – он запретил аборт в пяти штатах. Вернее, позволил сделать так, чтобы это было возможно. И это, мне кажется, очень важная вещь.

. Потому что современный и неолиберальный, и консервативный мир существует за счет того, что некоторые области человеческой жизни для него находятся под завесой, под водой. Это эмоциональное воспроизводство, это воспроизводство рабочей силы. Это все то консервативное, что как раз и находится в семье, которую нужно взять под контроль. Причем нужно взять под контроль не только рождаемость. Нужно взять еще под контроль само воспроизводство рабочей силы, эмоциональный комфорт, воспроизводство желания, воспроизводство того, что называют иногда сферой катексиса. Это эмоции, желание, эмоциональная поддержка, воспитание – вся эта область, которая, в общем-то, и делает человека человеком труда, и создает рабочего - не важно, какого он пола - до того момента, как он становится за станок или садится за рабочий стол. Это вытесненная сфера, мне кажется, очень важной сейчас и в России.

Мы иногда говорим: нет массовых движений, массовые движения популистские. Может быть, с одной стороны, это так, а с другой стороны, - массовый протест в Аргентине, массовые протесты, международная мобилизация в ООН против насилия над женщинами, массовые радикальные забастовки. Радикальные профсоюзы в Италии, которые проводят забастовки - сотни тысяч именно женщин, которые вдруг неожиданно начинают бастовать. Почему вдруг они начинают бастовать? Именно потому, что на самом деле консервативный порядок, или существующий порядок при всех его заявлениях эту область из себя вытесняет.

Это область того труда, который нам не виден, по Карлу Марксу. Хотя у Маркса он на самом деле есть. Но его почему-то, например, в XX веке многие ортодоксальные марксисты проигнорировали, хотя могли бы его увидеть, но предпочли не видеть. И точно так же этот труд вытесняется, вернее, берется под контроль консервативным проектом.

Этот тайный вампир, про которого Илья как раз говорит. Вернее, даже не вампир, а я бы сказала, некая бабушка, которую мы не видим, но на которой все это и держится. Та бабушка, которая тебе рассказывает, как жить. Такая консервативная в некотором смысле, но при этом и не консервативная, потому что именно труд этой бабушки наименее видим во всей этой истории в противопоставлении консервативных ценностей и ценностей неолиберальных, которые тоже стремятся этот неоплачиваемый труд не оплачивать дальше.

Когда-нибудь это выльется в очень весомый конфликт. И мне кажется, что сейчас мы должны смотреть на это в первую очередь.

Как это происходит в Америке? Белые мужчины, разочарованные в неолиберальном проекте, обращают свой гнев на тех женщин, которые отобрали у них рабочие места. Появляется масса движений такого рода.

Мне кажется, что любой консерватизм существует именно за счет того, что есть какие-то группы, которые он использует как мишень. Будь-то евреи или какие-то неправильного цвета люди, или люди с каким-то неправильным хромосомным набором. А таких людей оказывается - 52%. Это не меньшинство.

Сергей Уткин *Консервативная волна вызвана скоростью изменений, которые мы пережили за последние десятилетия.*

Интересная дискуссия уже завязалась. Мне кажется, что при критическом анализе консерватизма мы не должны превращать этот феномен в чучело, в карикатуру. А местами уже проглядывает эта карикатура. И,

конечно, здесь есть самые разные наслоения, в том числе неприглядные, в том числе связанные, допустим, с популизмом тем же самым. Но есть и какие-то более глубокие и более содержательные, и более понятные, в общем-то, в том числе рационально, основания.

Может быть, я упрощу и оставлю в стороне значительную часть научной дискуссии, которая по этому поводу ведется - по поводу самих категорий, которые мы используем. Но если посмотреть на мир, в котором мы живем, то у меня возникает ощущение, что если действительно мы можем говорить о некоей волне или повороте (мне как-то больше нравится образ волны, чем поворота, мне кажется, что это в меньшей степени процесс контролируемый и в большей степени вызванный не силами природы в данном случае, но силами истории), то, наверное, в основе этого скорость изменений, которые мы пережили за последние десятилетия.

Потому что если посмотреть в целом на человеческую историю, то, конечно, это время беспрецедентное. Если мы начинали XX век с менее чем двумя миллиардами человек на Земле, сейчас – это почти восемь и будет больше. И это несмотря на две мировые войны и т.д., и т.д., и научно-технический прогресс. То есть мир изменился колоссальным образом, причем на протяжении жизни нынешних поколений вообще. С точки зрения людей, которые помнят некий другой мир и считают, что он был правильный, он был нормальный, «старухи», «старики» начинаются лет с 35-ти в нынешнем поколении. Это уже некое поколение, которое думает: а мы вот жили, что-то такое из детства помним, оно было другое, в общем, не так плохо, и, может быть, и стоит как-то к этому то ли вернуться, то ли обратиться, то ли взять оттуда лучшее.

Этот эффект, по-моему, является какой-то глубинной основой консервативной волны. То есть люди, скажем так, испытывают (как правильно назвать медицински) то ли высотную болезнь, то ли декомпрессию - быстрый подъем и, соответственно, ощущение дискомфорта

и, может быть, реальные болезненные эффекты, которые просто объективно существуют и с которыми люди вынуждены сталкиваться и вынуждены их как-то осмыслять для себя, что-то им противопоставлять. И вот они противопоставляют некую идею того старого, хорошего, что было и что, конечно, у них искажается в современном восприятии, то есть не является результатом какого-то научного анализа, а как сложилось в сознании.

Денис Волков говорил о том, что в целом, допустим, в нашей стране, скорее, на уровне граждан не чувствуется, что они разделяют эти ценности консервативные. Конечно, Денис здесь напрямую работает с социологией, может быть, он не согласится со мной. Но у меня такое ощущение, что есть некий параллелизм в том, как люди живут, и в том, как они думают об окружающей действительности. То есть если вы начнете их спрашивать о том, что они делают в жизни, вы увидите, что человек не относится к неким воображаемым консерваторам, которые описываются идеологическими добавками в Конституцию. А если вы начнете его спрашивать, а как, по его мнению, должно действовать государство, а какое оно должно быть, чем оно должно заниматься, я думаю, что там найдется много элементов, так скажем, консерватизма.

То есть у человека, может быть, есть его реальный опыт, который уже отличается и который сформирован в сегодняшней действительности. И есть некое понимание, как оно должно быть. И в этом «как оно должно быть», наверное, довольно много консервативных элементов все-таки сохраняется.

И второй момент, к которому я хотел обратиться. Это, собственно, связано с названием книги, которое, наверное, не самое главное. Понятно, что здесь был выбран такой провокативный прием с Хантингтоном, но тем не менее. То есть в том фрагменте книги, где речь идет именно о Хантингтоне, делается все-таки опять же, наверное, полупровокативное, полусерьезное предположение, что Хантингтон мог не просто правильным образом описать грядущий мир, а он мог стать его таким соавтором. Потому что его работы

прочли люди, принимающие решения, для них это было проще и понятнее, чем что-то другое. И они стали воплощать Хантингтона в жизнь. Если я правильно понял авторскую мысль здесь.

И поскольку меня тоже на протяжении всех этих лет, как эта дискуссия шла, интересовало, как она развивалась, и чем дальше, тем больше, то есть первоначально мне казалось, что это противопоставление – Фукуяма, Хантингтон – это какое-то упрощение, редукция и вообще это как-то очень просто, незатейливо и малоинтересно. А потом оказалось, что все интереснее и интереснее по мере того, как жизнь доказывала, что это не просто некоторая абстракция.

И мне кажется, что здесь приписывать Хантингтону такую роль - это все-таки преувеличение. Может быть, оно такое, я говорю, провокативное преувеличение, но именно преувеличение.

Мне кажется, что даже люди, которые ссылаются на Хантингтона, все-таки не то, чтобы прочли, усвоили и поэтому взяли его за основу и стали реализовывать идеи. А в основном, если мы говорим и о консерватизме, и о реализме в плане представления о международных отношениях, то это по большей части вещи стихийные, опирающиеся на опыт тех людей, которые это используют в своей практике. То есть это не потому, что они прочли Хантингтона. Не потому, что они даже помнят что-то о Хантингтоне. А потому что это, в общем, для них инстинктивно, естественно вести себя таким образом.

Поэтому я здесь склоняюсь все-таки к версии, что Хантингтон действительно во многом (понятно, не во всем, как любой исследователь) здесь увидел те тенденции, которые, наверное, видело большее количество авторов, но многим они казались какими-то уже отжившими свое, несимпатичными, ведущими не туда и прочее, прочее. Он, в общем-то, сделал вывод, что, если нам, допустим, несимпатично, это не значит, что это не будет иметь значения. Если это какие-то вещи, которые связаны с

прошлым, это не значит, что они в нашем будущем XXI века, в цивилизации, которая вроде бы опирается на результаты научно-технической революции и прочее, не будут иметь значения.

И в этом он, в общем-то, как выясняется, оказался действительно прав.

Кирилл Новиков: *Следует говорить о мировом консервативном повороте. Но следует достаточно строго разделять то, как он проявляется в центре миросистемы и на ее периферии.*

Мне кажется, что в нашей дискуссии уже наметилась важная проблема. Уже многие высказывались по этому поводу. Можно ли считать происходящее в России частью некоего глобального консервативного поворота?

Мне вспоминается то положение, которое было не совсем с консерваторами, скорее, с националистами, которое имело место, скажем, на рубеже XIX-XX веков. Это описано у Андерсона, Хобсбаума и многих других. Когда сталкивались, собственно, национализм, массовый национализм и фальшивый, казенный национализм, когда, допустим, царское правительство пыталось использовать национальные одежды, национальные символы и идентичность для того, чтобы в иной обертке представить то же самое и на самом деле не меняться.

В этом смысле мне кажется, что мы имеем дело с подобным явлением. Мне кажется, консервативная волна, которую мы видим на Западе, по крайней мере, наверное, последние лет десять, ну уж точно с 2016 года, когда были уже Brexit и избрание Трампа, - это не совсем то же самое явление, которое мы наблюдаем в России.

На Западе это действительно популистский бунт не просто против элит, а против глобалистских элит, то есть против тех, кого обвиняют в том, что они выводят капиталы, производство в 14-Китай и т.д., т.п. В России, после 2012 года мы видим, скорее, бунт глобалистской элиты, то есть тех,

кто, занимается экспортом энергоресурсов и т.д. То есть чисто в социальном плане это, видимо, несколько разные силы.

Савиньи говорил, что мы не ультраправые, мы за здравый смысл. Консервативная волна еще при Рейгане сформировала некий дискурс, «здравого смысла». Очевидно, что сама эта речевая фигура – возвращение к здравому смыслу – крайне актуальна для современных западных правых и западных консерваторов. То есть речь идет, например, о том, что все-таки существует только два пола, - для кого-то это неочевидно, а для кого-то очень очевидно. А также о том, что, например, не стоит давать право голоса мигрантам из стран третьего мира. И т.д., и т.п.

А что мы видим в России? Мы видим опору, скорее, не на здравый смысл, а на некоторые аффекты, которые используются в пропаганде, звучат в контролируемых государством СМИ. И само сочетание - здравый смысл - практически, мне кажется, в пропаганде очень редко используется. Поскольку, видимо, это не то, к чему стремятся те, кто стоит за этой пропагандой.

На Западе один из важных лозунгов у правых, у консерваторов – это идея свободы. Мы это видим и у либертарианцев, разумеется. Как ни странно, мы это видим даже у совсем уж маргинальных альтрайтов. Разумеется, речь идет прежде всего о свободе слова. Почему? Почему вдруг консерваторы начинают бороться за свободу слова? Потому что их противники, например на уровне университетских площадок, занимаются открытой травлей в стиле хунвейбинов, которым подвергались многие видные ученые.

В России вместо свободы слова, скорее, наступает цензура

Что мы видим в отношении СМИ? Консерваторы, правые на Западе, собственно, занимаются и достигли чего-то благодаря атаке на мейнстримные СМИ. Эта атака была осуществлена достаточно успешно теми же отрядами, кстати, и тем же Дональдом Трампом благодаря использованию

Интернета как такой всеобщей свободной платформы, которую на тот момент мейнстримные СМИ никак контролировать не могли. Хотя в последнее время пытаются.

В России мы видим, разумеется, совершенно противоположное явление. Это государственная монополия в СМИ, которая используется в интересах вполне прямолинейной пропаганды.

Что мы видим на Западе? В идеологическом плане - это национализм. Все лидеры так или иначе заигрывают с националистическим дискурсом.

В России это вряд ли можно назвать национализмом: ставка на этатизм в идеологии, мне кажется, совершенно очевидна. Разница между национализмом и этатизмом вполне очевидна. Это действительно ставка на усиление и проникновение государства во все поры общества, что у нас, собственно, благополучно и совершается.

Западные консерваторы, разумеется, выступают против этого. Причем здесь удивительное единство между чуть ли не полуфашистскими силами и вполне либеральными, как британские консерваторы.

Наконец, конечно, история с борьбой с deep state, с осушением болот, то, чем прославился Трамп. У нас deep state является очевидным триумфатором всех этих процессов.

Наконец, собственно, откуда черпаются силы? На Западе это попытка мобилизовать того самого молчавшего прежде избирателя, как это было, например, на последних выборах в Великобритании. Когда те самые люди, которые всегда голосовали за лейбористов, вдруг стали голосовать за Бориса Джонсона.

В России инициатором и бенефициаром опять же является государство.

Поэтому возникает вопрос: а почему, собственно, мы рассматриваем консерватизм на Западе, и консерватизм в России как части единого процесса? На самом деле, мне кажется, есть основания считать, что это может быть не единый процесс, но явление, порожденное примерно одними

и теми же процессами историческими, как правильно было, на мой взгляд, сказано, что речь идет именно о больших глобальных исторических сдвигах.

В чем смысл? Наверное, сейчас еще рано делать какие-то выводы. Хотя бы потому что они просто покажутся преждевременными. О том, что глобализация столкнулась с тем, что существуют внутренние пределы роста, и как-то внезапно активизировались все теневые стороны глобализации, будь то коронавирус или проблемы с выводом промышленных мощностей из стран Запада и перенос финансовой тяжести с Запада на Восток.

Так или иначе это некоторый единый процесс, который позволяет, с одной стороны, добиваться успеха на Западе силами, которые выступают против этих негативных последствий глобализации. С другой стороны, эти же процессы развязывают руки каким-то силам в других странах – нелиберальных по своим традициям, которые используют момент, вероятно, временного ослабления Запада для того, чтобы отыграть какие-то позиции и отстроить свои вертикали в соответствии со своими вкусами.

Поэтому я согласен с тем, что следует говорить о мировом консервативном повороте. Но следует достаточно строго разделять то, как он проявляется в центре миросистемы и на ее периферии.

Борис Денисов: *Развитие будет идти в направлении разнообразия поведения, в том числе общественного.*

По поводу термина *консерватизм* мне непонятно, что консервируется. То есть в нашей истории есть много примеров всего. И какую именно часть этой истории консервируют – непонятно.

Поэтому хорошо, что книга, которую мы обсуждаем, написана. Но термин *консерватизм* мне кажется неудачным. Мне кажется, лучше говорить об *архаизме* и об *архаизации*. То есть я думаю, что речь идет о возвращении к идеалам домостроя... Pussy Riot били нагайками, где-то, по-моему, в Сочи, казаки. Это тот самый образ, который хочется молчаливому большинству

всадить в Конституцию и жить так дальше. А не «сто гендеров», однополые браки и прочее.

Тем не менее, я думаю, что развитие будет идти в направлении разнообразия поведения, в том числе общественного, а не в сторону унификации всех в архаической структуре.

Леонид Гоффман: *Новаторы происходят из консерваторов. Мне кажется, это очень существенная вещь*

Понятия *консерватизм, консерватор* для меня неопределенные. Потому что надо еще понять, какой он - прогрессивный, регрессивный, гуманистический и т.д. Архаизм – тоже, мне кажется, не очень подходящий термин.

Что можно назвать консерватизмом? Нынешние сталинисты – это консерваторы? Рыночники – Чубайс, Гайдар – консерваторы? В каком-то смысле, безусловно, да. Потому что они сделали беспрецедентный поворот, но поворот к тому, что было всегда...

Я не знаю, кто это сказал, но я это повторяю часто и своим ученикам тоже. Новую Венскую школу у нас многие считали авангардизмом. Но на самом деле Шенберг, его ученики были наследниками великих мастеров классической Венской школы – Гайдна, Моцарта.

Новаторы происходят из консерваторов. Мне кажется, это очень существенная вещь.

Татьяна Левина: *Как проводить политику разнообразия? Как найти ту новую оптику, которая не противопоставляет консерваторов либералам и дает больше возможностей?*

У нас уже наметилась дискуссия по поводу консерватизма и его противоположности. Я бы хотела сказать по поводу разнообразия.

Меня интересует эпистемология *другого взгляда*. То есть как можно понимать, как можно познавать с какой-то другой позиции, не с той позиции, которая является знакомой, легитимной, привычной.

Что я имею в виду? Вы, Илья, говорили о консерваторах как либералах, когда консерваторы забирали какую-то часть либеральной повестки. В связи с этим у меня появился вопрос: как либералы бывают консерваторами? Об этом Вы тоже писали.

У меня появился вопрос: могут ли быть либералы не быть консерваторами? Могут ли они не проводить какую-то радикальную линию между собой и представителями консерватизма и давать им право голоса, и осуществлять поддержку - не с патерналистской позиции? То есть меня эта возможность интересует.

Вы писали о том, что либералы видят консерваторов как некое заблудившееся, необразованное, запуганное страхом население. А если смотреть на них без патернализма - как бы с другой стороны, с пониманием того, что, возможно, да, они не информированы? Допустим, понимать, что это люди с непроработанными травмами Советского Союза. То есть это люди, держащиеся за представления, почерпнутые в Советском Союзе, например. И люди, которые, таким образом, достигают для себя ситуации безопасности.

В связи с этим у меня вопрос. Обязательно ли это противопоставление? - то есть необразованное, запуганное страхом население и население, как наша молодежь, наши студенты – смелые, умные, готовые предлагать интересную повестку, в том числе, политическую.

Итак, вопрос по поводу консерватизма в либеральной среде, когда, например, феминистки не имеют консенсуса по поводу того, что именно является феминизмом. Например, они критикуют других женщин, которые имеют консервативные ценности. И при этом женщины, имеющие консервативные ценности, на самом деле являются наиболее угнетенными.

Как поддерживать либеральные ценности, не становясь консерваторами? Возможно ли для либералов спокойно относиться к женщинам, выбирающим консервативные ценности? Можно ли давать выбор этим людям? Как соответственно, проводить политику разнообразия? Как найти ту новую оптику, которая не противопоставляет консерваторов либералам и дает больше возможностей?

В заключение пример, который касается гендерных тем.

Очень часто я вижу так

ую позицию в феминизме, как четкое разделение на добро и зло. Допустим, с одной стороны, есть киберфеминизм, искусственная матка, женщина наравне с космосом, женщина-президент, женщина-айтишница и т.д. Все это противопоставляется естественному родительству, естественному вскармливанию, счастьем матери. И при этом я также вижу, что первая сторона – (скажем, радикальные феминистки) – с трудом включает отцовство в семью. Например, высмеивая мужчин, которые осмеливаются рассказывать о своем опыте отцовства и вовлеченности в семью без оглядки на феминисток. Тогда как именно вовлеченность мужчин и распределение домашнего труда, по идее, и может изменить экономику.

Андрей Олейников: *Не могу полностью согласиться с тем, что сейчас в мире происходит глобальный консервативный поворот*

Актуальность и критическая заостренность понятия *консерватизм*, самого обращения к консервативному наследию были оправданы, по крайней мере, когда господствовал либеральный или неолиберальный мейнстрим, который заслуживал критики со стороны левых и со стороны тех людей, которых мы называем консерваторы. То есть в той мере, в какой консерваторы (как, собственно, Илья отмечает в своей книге) помогают обратить внимание на те стороны нашей действительности, в которых господствовал либеральный дискурс. Консерваторы оказываются циниками

в том смысле, что умеют называть вещи своими именами и обнажать так называемую голую правду. В той мере они могут оказаться интересными и полезными для тех, кто готов разделить с ними в целом критическое отношение к действительности.

То есть *консерватизм* или *консервативный поворот* можно представить как некое кривое зеркало, в которое людям левых взглядов иногда полезно заглядывать. Мне кажется, что в этом качестве действительно идея этого консервативного поворота сохраняет свой смысл.

Но сегодня, мне кажется, мы оставили в далеком прошлом то время, когда нормализующий дискурс выстраивался в основном в либеральных терминах.

Поэтому консерватизм, насколько я понимаю мысль Ильи, – это субстантивный стиль мышления, носителем которого является какая-то определенная социальная группа. То есть это, скорее, стиль, который так или иначе оказывается инструментальным и может быть использован самыми разными группами и интеллектуалами самых разных направлений и ориентаций. И иные левые могут в каком-то контексте выражать консервативные взгляды. Или те же консерваторы британские, – если обратиться к примеру, который уже прозвучал сегодня, – могут подхватить сейчас повестки, доставшиеся от лейбористов.

То есть я понимаю разумность употребления понятия *консерватизм* как стиля мышления. Но я себя не могу вполне согласить с тем, что сейчас в мире происходит глобальный консервативный поворот. Мне кажется, что здесь как бы набрасывают какую-то пелену, из которой еще надо уметь выбраться.

Я глубоко чту консервативную традицию – британскую, немецкую, и русскую тоже. Эта традиция представлена именами многих блестящих авторов. Но я не думаю, что консерватизм – то, что происходит сегодня: мы имеем дело с попыткой ряда лидеров крупных государств деполитизировать

социальную действительность, то есть с попыткой свести политику к технологиям и по сути демобилизовать массы, заставив их поверить в то, что сейчас мир вступает в период стабильности, и можно наконец заняться самими собой, растить детей и т.д.

Я думаю, что в этом случае политики не нуждаются в консервативной традиции. Чтобы проводить эту политику, им не нужен ни Берк, ни де Местр, ни прочие замечательные, яркие авторы. Скорее, мы имеем дело с какой-то новой формой цинизма, которая уже обходится без истории. Может быть, это парадокс. Потому что консерватизм – это традиция, которая нуждается в истории и постоянно к ней обращается.

Если говорить о так называемых консерваторах последних лет, они историю игнорируют и превращают ее комикс, в какой-то миф, в общем, доказывая, что им проще без прошлого. Они действительно хотят погрузить нас в какое-то вечное настоящее и оставить в нем.

Григорий Кертман. *Вряд ли можно говорить о том, что происходит в России сейчас, как о части глобального консервативного поворота*

Как и многие выступившие сегодня, я сомневаюсь в том, что понятие **консервативный поворот** работает применительно к России. Мои замечания будут заключаться в некоторых аргументах в пользу этой точки зрения. На мой взгляд, консервативный стиль мышления предполагает, прежде всего, уважение к традиции, представление о некоем органическом, нерукотворном, естественном социальном порядке, который под угрозой: что-то в нем нарушено, и, может быть, надо аккуратненько убрать какие-то нарушения, какие-то отклонения. То есть, этот социальный порядок надо беречь.

Абсолютно сущностное почтение к традиции - базовая характеристика консерватизма. Иначе это можно назвать уважением к институтам. Произвол как политический стиль, диаметрально противоположен консерватизму.

Никакого уважения к органическому социальному порядку в России со стороны сил, которые мы сейчас ассоциируем с консерватизмом, как-то незаметно. Не хочется быть банальным и говорить о Конституции, меняющейся за неделю, но можно привести много других примеров неуважения к традиции.

В каком-то смысле и западный консерватизм сегодня не совсем чистый консерватизм. Есть проблема Трампа, а он по своему политическому стилю, конечно же, не консерватор. Но так получилось, что он оседлал, возглавил консерватизм. Вся проблема Республиканской партии заключается в том, что сейчас республиканцы вынуждены поддерживать человека, идеологически будучи с ним во многих отношениях близкими, но по своему политическому стилю совершенно другого, неконсервативного по своему стилю.

Все-таки принципиальная особенность - то, что в американском, английском, в любом другом консерватизме сегодня есть некая модель социального порядка в прошлом и до какой-то степени живая сегодня, на которую современные западные консерваторы реально опираются в борьбе с либеральным мейнстримом, - с универсалистским, либеральным мейнстримом.

Что все-таки сближает, и стилистически сближает российский консерватизм с консерватизмом западным?- Общий враг. Конечно же, тот же самый общий универсалистский либеральный мейнстрим, у которого есть такие черты, особенности, характеристики, которые являются идеальными объектами для популистской мобилизации.

Но, например, для сегодняшней Америки борьба с гендерным разнообразием - со «ста гендерами» - протекает в рамках нормального политического процесса. Это продолжение тянувшейся десятилетиями борьбы

за легализацию однополых браков и против нее и т.д. Здесь есть история и живая политическая жизнь, которая стоит за сегодняшней популистской мобилизацией.

В России нет истории долгой, массовой, временами успешной борьбы за права меньшинств, нет традиции политкорректности, как в США. Кроме того, в России ни применительно к семейным отношениям, ни применительно к экономике нет модели, к которой можно было бы попытаться вернуться.

Проблема в том, что лет двадцать назад, когда сегодняшний российский политический режим обретал свою легитимность, он дистанцировался равноудалено от двух прошлых эпох – советской и 90-х годов. Это дистанцирование и от того, и от другого создавало некую самостоятельную легитимность, и многое на этом строилось.

В 2014 году конструкция изменилась - «проклятым» прошлым остались 90-е годы, а советская эпоха перестала восприниматься негативно, отношение к ней сделалось амбивалентным. Но именно поэтому советский проект не может быть основанием для современного консерватизма: сколько-нибудь внятная апелляция к какой-либо части советского прошлого, отсутствует в нашем якобы консервативном дискурсе.

То, о чем говорит власть, и люди, ее представляющие в публичном пространстве, звучит как нечто консервативное. Но это только имитация, консерватизмом я бы это не рискнул назвать, и мы вряд ли можем говорить о том, что происходит в России сейчас, как о части глобального консервативного поворота.

Борис Ключников: *Не считаю, что я консерватор. Но при этом я стою на позициях институциональности, традиции критической теории*

Спасибо за интересную дискуссию. Я хочу поделиться с вами своей тревогой.

Преподавая художникам, разговаривая с художниками, я говорю о критической теории. Я говорю, что это определенная традиция, без которой нельзя понимать современное искусство, искусство XX века и т.д. На что художники мне отвечают, что это скучно, это что-то старое, и нужно что-то более экстравагантное, нужно что-то более шокирующее, нужно освободиться от этого наследия. И они упрекают меня даже в какой-то моральной позиции или в цензуре. Они говорят: такое введение в критическую теорию ограничивает свободу, в общем, они упрекают меня в консерватизме, оказывается. При этом они выступают с точки зрения чего-то асистемного. Они никогда не говорят о здравом смысле. Они говорят: какой здравый смысл, нужно что-то более хтоническое, нужно что-то неоднозначное, нужно сделать работу, связанную с Дугиным...

И в этом контексте, когда ты говоришь в институциях, то есть ты сидишь в институции, говоришь о критической теории, и тебе говорят: это спаянность институции и критической теории, все это наследие нужно отбросить, чтобы раскрыть что-то неоднозначное.

И получается, что я в таком случае выступаю как тот, кто запрещает людям наслаждаться. Что есть эта свобода, они хотят делать все, что угодно, например, они используют свастику в своих работах. Я говорю: ну, лучше бы это, наверное, не делать. Есть традиции использования этих образов, которые показывают, что это не работает таким образом, что эта субверсия не считается, что субверсия уже не работает.

Они говорят: мы хотим искусства, мы хотим наслаждаться. И получается, что неожиданным образом ты обнаруживаешь себя стоящим на каких-то этических позициях, ты защищаешь наследие критической теории. И, собственно, находясь еще в институциональной ситуации, то есть ты

преподаватель в институции, и тебя выставляют, буквально тебя подставляют под этот образ консерватора.

На это я отвечаю: нет, это вы консерваторы. Консерваторы сейчас выглядят так асистемно, они выглядят сейчас как раз так хтонично. Они настроены на медиа-шок, на размывание контекстов левого и правого. И в итоге получается парадокс. Они упрекают меня в консерватизме, а я упрекаю их в консерватизме. Но это абсолютно разные вещи.

Мне очень нравится определение Михаила Куртова, который назвал эту ситуацию анархо-монархизмом. То есть коронованная анархия: во главе всех институтов стоит хаос, который все смешивает, который говорит о шоке, о том, что мы должны быть более неоднозначными и т.д.. Это становится некоторым новым законом, более консервативным, чем сам консерватизм.

И у меня такой вопрос: какова возможная критика этого положения? То есть я не могу согласиться с тем, что я консерватор, например. Потому что я не считаю, что я консерватор. Но при этом я стою на позициях институциональности, традиции критической теории.

Получается, что возникает какая-то странная диффузия понятий.

Андрей Рябов: *Глубина, формы, масштабы авторитарного реверса и, соответственно, масштабность консервативного поворота определяются национальными особенностями тех или иных стран.*

Как мне кажется, здесь важно очень четко артикулировать две ключевые причины возникновения консервативного поворота. Первая ключевая причина – это кризис нынешней модели глобального капитализма. Я предпочитаю термин не глобализации, а именно глобального капитализма. Если говорить в терминах Зигмунда Баумана, то в основе этого кризиса – противоречие между теми, кто встроился в современные глобальные и международные, и национальные институты, и теми, кто оказался вне этой

глобальной реальности, оказался привязан к своим локалитетам, к своим предприятиям, к своим организациям и т.д., и т.д.

Проблема заключается в том, что этот глобальный капитализм не предлагает модели будущего для всех. Любые социологические проекты в отношении будущего, основанного на цифровизации экономики, роботизации управления, в мире, где будет править всемогущий искусственный интеллект, они все сходятся на том, что это будущее будет несправедливым, что социальные разрывы достигнут там небывалой величины даже по сравнению с далеко ушедшими в прошлое эпохами. И, в общем, оно не может быть привлекательным для большинства. И это ключевая проблема.

И вторая причина, тесно связанная с первой. Она заключается в особенностях современного рынка политических идей, политических проектов. Он сегодня как никогда беден с точки зрения проектов будущего.

Давайте проведем небольшие исторические сравнения. Конец 80-х годов XIX – начало XX века. Такой же кризис тогдашнего глобального-неглобального, но планетарного капитализма, который, как писал Эрик Хобсбаум, был созданным буржуазией и для буржуазии. То есть кризис капитализма меньшинства.

Но политический рынок бурлит. На нем масса идей. И прежде всего доминируют левые проекты, социал-демократические. Ленинский проект уже начинает формироваться. Анархо-синдикалистский проект ... Почему они привлекательны? - Потому что в отличие от правых и консервативных они предлагают модель будущего для всех.

Мне очень нравится название знаменитой книги Людвиг Эрхарда, которая издана потом, в другую эпоху, - «Экономика для всех». Это по аналогии с социальными проектами для всех.

Теперь давайте посмотрим 20-30-е годы. Также кризис тогдашнего капитализма, «капитализма угля и стали». И опять мы видим огромное

разнообразие политических проектов будущего - и правых, и левых.. Они не являются сугубо реакционными. Любой из них сосредотачивает, несет в себе большой или меньший элемент модернизации и будущего для всех. Даже такая экзотика, как проект Салазара, включал создание новой инфраструктуры, всеобщее образование, всеобщую грамотность за счет перераспределения доходов, полученных в результате эксплуатации колоний.

Если мы посмотрим на сегодняшний мир, то не найдем привлекательных проектов будущего. (Я не говорю о самоуправленческом социализме. Это все очень здорово на бумаге, в академических концепциях. Но в больших сообществах на практике это, увы, не работает.) Отсюда консерватизм, отсюда направленность в прошлое и человеческой мысли, и человеческой энергии, включая и политическую энергию.

Если появятся реалистичные проекты, левые проекты будущего для всех, то эта консервативная волна, по крайней мере, в ядре миросистемы сегодня, непременно пойдет на спад. Но пока этого не видится, и консервативная волна, по крайней мере, устойчива. Можно спорить: развивается она или нет, но она устойчива. Это первое.

Второе. Мне очень понравилась мысль о необходимости разделения консервативного поворота в ядре системы и на ее периферии, полупериферии. Говоря о России, думаю, надо быть честными и сказать, что сегодня это мировая полупериферия. И естественно, процессы, связанные с консервативным поворотом, в ней очень существенно отличаются от того, что происходит в ядре системы.

На мой взгляд, в первую очередь бросается в глаза социальная база этого поворота. Кто основной массовый носитель, двигатель, как угодно, драйвер массовых консервативных движений на Западе? Это потерявший что-то собственник в широком смысле слова. Не только собственник некоего небольшого производства, мелкий лавочник, как бы написали классики

марксизма-ленинизма, но и «собственник» своих идей, рода занятий и т.д., потерявший их, но только что имевший.

Кто массовый двигатель консервативных движений в условиях, например, постсоветского пространства? Это человек, который никогда не имел никакого понятия о собственности. Это бюджетный люмпен с люмпенским сознанием, который потом превращается, например, в ряженого казака с нагайкой. Это две ипостаси слова *консерватизм*.

И, естественно, такого рода социальные субъекты по своей природе разнонаправлены. Одни пытаются вернуть утраченный золотой век,, что умело эксплуатируют соответствующие политики, начиная с Трампа и иже с ним поменьше. А другие вообще хотят только патерналистской защиты в той или иной форме, не имея ни проекта будущего, ни прошлого - ничего. Имея только настоящее.

И, как мне кажется, если говорить о постсоветских реалиях, а Россия – в общем, ядро этих постсоветских реалий, то здесь, наверное, консервативный поворот следует признать результатом авторитарного реверса, который произошел где-то в конце 90-х годов. О датах можно спорить. Это даты довольно условные. Но мне кажется, в мировой литературе уже существуют достаточно четкие ориентиры. Это знаменитая статья Хеллмана 98-го года “Winners take All”, которая отметила очень важный результат социальных изменений посткоммунистических трансформаций на постсоветском пространстве, формирование новых элит, которые, вопреки формуле Льва Троцкого, сконцентрировали в своих руках и власть, и собственность.

И соответствующее исследование уже есть. Я имею в виду изданную в Высшей школе экономике работу Р.М. Нуреева и Ю.В. Латова – эта книга «Институциональная история российской экономики», где речь идет о том, что восстанавливается институт власти и собственности, который по существу предопределяет авторитарный реверс.

А дальше начинается самое интересное. Глубина, формы, масштабы этого авторитарного реверса и, соответственно, масштабность консервативного поворота определяются национальными особенностями тех или иных стран. В России существует предрасположенность к этому: прежде всего, конечно же, имперское прошлое, отсутствие сильной демократической традиции, любовь ко всякого рода иерархиям и прочее, прочее.

То есть это является социально-экономической основой, к которой добавляется, мне кажется, очень важный, социально-психологический фактор. Это фактор такого разочарования в собственной неспособности повторить чужой опыт. И это в сочетании с неким комплексом величия дает консервативный результат. Вспоминая слова евразийца Савицкого, «Мы - не Восток, но и не Запад, Особый наш уклад и род, Мы - целостный Востоко-Запад, Мы - путники его высот».

Рождается некое такое противопоставление либеральным ценностям, мировым трендам, глобальным тенденциям, с целью сохранить и обосновать неизбежность такой особенности. Такого рода примеры возможны и в других частях полупериферийного по сути своей постсоветского пространства. Где-то они выражены, может быть, еще более жестко и в более определенной форме.

Замечание по поводу популизмов: мне кажется, эту тему применительно к консервативному повороту лучше не затрагивать в первую очередь из-за размытости самого этого понятия. Причем, как мне представляется, эта разность не является результатом какой-то случайности. Это сознательный и транслируемый западным партийно-политическим истеблишментам термин. Когда этот истеблишмент вошел в полосу очень серьезного глубокого кризиса практически во всех странах с традиционной партийной системой, то для любых проявлений несистемности или, скажем, даже не несистемности, а нахождения за пределами генерального тренда появился термин *популизм*. Популизм – это партия интернет-пиратов.

Популизм – это, естественно, партия Альтернатива для Германии. Всё это популизм.

Наконец, в нашей литературе, и не только в нашей, но и в западной есть попытка выдать за популизм определенные технологии. Отсюда появляется странное желание найти на постсоветском пространстве популизм. Я думаю, с таким же успехом его можно было бы найти, например, в династии Великих Моголов в Индии. Потому что, как известно, императоры Великих Моголов проводили нечто подобное «прямым линиям с президентом» у себя в Красном форте в Нью-Дели, когда они приглашали людей со всей страны и собирали жалобы и по итогам этих жалоб тут же принимали политические решения: какого чиновника убрать, какого назначить и т.д., и п., где починить индуистский храм, где мечеть и т.д.

То есть это не популизм. Популизмом в широком смысле слова являются лишь те политические течения, тот тип политики, которые в политических решениях, практических действиях власти воспроизводят упрощенные, а подчас и примитивизированные формы и представления массового сознания. И в этом плане, если подходить к популистским движениям с такого рода критерием, то, наверное, можно говорить только об одном популисте – президенте Белоруссии Александре Григорьевиче Лукашенко, и то в первое десятилетие его правления, где-то в 90-е годы. Когда действительно многое, что он услышал, скажем, в своих любимых контактах с толпами людей на улицах, становилось реальными политическими решениями. Политические технологии к этому никакого отношения не имеют.

Поэтому, как мне кажется, в этом контексте разговор о них лучше вообще минимизировать, иначе он просто уведет нас в какую-то далекую неопределенную область. Тем более, что популизм, как выясняется, опять-таки вопреки широко распространенным утверждениям, бывает не только консервативным, но и либеральным.

Ну, а если отвлекаться от академических реалий и перейти к политической практике, классический пример либерального популизма – это новый политический режим в Армении во главе с Николом Пашиняном. Абсолютно чистой воды либеральный популизм. Это когда либеральные ценности проходят через популистские движения, выдвигаются популистскими движениями и реализуются через популистские инструменты политического управления.

Ольга Здравомыслова: *В концепции Ильи Будрайтскиса есть посыл, особенно важный в наше время: необходимость диалога между теми, кто занимает разные идеологические позиции - исследователей, экспертов, активистов, исповедующих разные взгляды и по-разному оценивающих консервативный поворот.*

В сегодняшнем обсуждении уже обозначился широкий спектр позиций. От признания неизбежности консервативного поворота, вызванного кризисом современной модели глобального капитализма (Андрей Рябов) и скоростью изменений, которые мы пережили за последние десятилетия (Сергей Уткин), - до сомнения в правомерности употребления самого понятия *глобальный консервативный поворот* (Андрей Олейников).

На Западе консерваторы выступают критиками и политическими оппонентами либерально-демократического проекта, который обнаружил свои внутренние ограничения. Кирилл Новиков выделил очень важную особенность нынешнего противостояния либералов и консерваторов на Западе: очевиден конфликт основополагающей ценности - свободы (свободы слова, самовыражения), и ценностей толерантности - конфликт, в котором консерваторы выступают как защитники свободы слова от ограничений, задаваемых диктатом политкорректности. Это усиливает позиции консерваторов. Расширение публичного пространства свободы для

прежде невидимых групп меньшинств только углубляет противостояние между либералами и консерваторами, обеспечивая последним преимущество и привлекая к ним симпатии населения.

Вопрос, который звучит в каждом выступлении: является ли Россия частью глобального консервативного поворота, или здесь мы имеем дело с чем-то иным? И как всегда, этот вопрос остается открытым: говоря о России, мы говорим о стране, где либерально-демократический порядок, никогда не был осуществлен.

На мой взгляд, в этом состоит одна из причин того, что оспаривается правомерность самой постановки вопроса о консервативном повороте применительно к современной ситуации в России. Так, Денис Волков предлагает говорить не о консервативном повороте, а о популизме. Григорий Кертман подчеркивает имитационный характер консервативного поворота. Борис Денисов предлагает называть происходящее архаизацией.

Иначе говоря, идет поиск точного имени того, что называют сейчас *консервативным поворотом в России*. Этот поиск идет и в книге, которую мы обсуждаем. Так понимание и объяснение смыкается с проблемой языка описания - необходимостью дальнейшего продумывания понятий, определяющих процесс, который происходит сейчас, на наших глазах.

В выступлениях Анны Нижник и Татьяны Левиной были высказаны интересные соображения о гендерной составляющей консервативного поворота. Она требует углубленного исследования, поскольку это, безусловно, одна из ключевых тем для понимания сути и перспективы консервативного поворота именно в России. Дело в том, что его специфика во многом, задана соединением демографической проблемы (определяемой как приоритет российской государственной политики), с отсутствием устойчивой феминистской традиции. Она развивается сейчас в среде активисток молодого поколения и усиливается благодаря социальным сетям. Поэтому гендерная тема становится точкой конфликта и идеологического

противостояния. В то же время, связывая идеологию и повседневную жизнь личности и семьи, эта тема открывает возможность диалога между исследователями и активистами либерального и консервативного направлений.

Такой подход органичен и для книги, которую мы обсуждаем. Книга замечательна тем, что в ней представлен аналитический подход, чуждый упрощению и предвзятости. Поэтому, мне кажется, не ошибусь, если скажу, что в книге Ильи Будрайтскиса есть посыл, особенно важный в наше время: необходим диалог между теми, кто занимает разные идеологические позиции - между исследователями, экспертами, исповедующими разные взгляды и по-разному оценивающими консервативный поворот.

Илья Будрайтскис

Всякая консервативная традиция уникальна, она соответствует особенностям социальной композиции, места той или иной страны, того или иного общества в становлении глобального капитализма и соответствует негомогенности этого глобального капитализма, неравномерности развития тех или иных обществ.

Огромное спасибо за все эти замечания. Я, конечно, не уверен, что смогу на все из них должным образом прореагировать. Но одна из основных линий критики тех комментариев, которые сегодня прозвучали, сводилась к тому, что в России - некая особая ситуация, российский консервативный поворот не может быть сопоставлен с консервативными поворотами на Западе, поскольку он не является подлинным. В России отсутствует подлинность, в России отсутствует подлинная традиция, в России отсутствует подлинный объект, который можно было бы сохранять. Российское общество не является носителем тех традиций, которые сохраняются государством. И поэтому, собственно, наша ситуация так или

иначе полностью или не полностью выпадает из глобального консервативного тренда.

Я бы сказал, что это как раз главный тезис, с которым я пытаюсь спорить в своей книге, исходя, во-первых, из того, что никакого общего стандарта консерватизма в принципе не существует. Особенность консервативного стиля мышления, самой консервативной традиции заключается в ее партикулярности, в ее попытке противопоставить себя любым законченным, цельным и тем более претендующим на универсализм доктринам.

Всякая консервативная традиция уникальна, постольку-поскольку она соответствует тем особенностям социальной композиции, места той или иной страны, того или иного общества в становлении глобального капитализма и соответствует неомогенности этого глобального капитализма, неравномерности развития тех или иных обществ. Консерватизм возникает не в качестве проявления архаики, не в качестве спонтанной реакции людей на быстрые перемены. Но консерватизм возникает сначала как мысль, а затем как политическое движение в XIX – начале XX века в связи с его реакцией на буржуазную рационализацию общества. Эта рационализация обнаруживает себя в разных странах в самой разной форме.

Естественно, что в России эта рационализация всегда была связана с внешним. Рационализация – это Запад. Рационализация – это западная политическая модель, это западная рациональность, которая пытается так или иначе абсорбировать Россию, навязать ей свои образы, свой тип мышления, свой тип хозяйства и т.д., и т.д.

Поэтому сам антизападный элемент или сама антизападная риторика, направленность является для российской консервативной традиции абсолютно органичной. Это то, с чего российский консерватизм начинался со времен Карамзина, и то, что так или иначе сохраняется в политическом языке

русского консерватизма по сей день и совершенно не является имитационным.

Второй момент – то, что любой консерватизм в любой специфической национальной ситуации противопоставлял живой исторический опыт любым цельным рациональным доктринам изменения общества, прежде всего революционным путем. *Консерватизм – это реакция на революцию. И в этом смысле, конечно, антиреволюционаризм, то есть даже не контрреволюция, а антиреволюция в том смысле, что она не наследует ни какому конкретному революционному порядку, является совершенно необходимым, краеугольным элементом современной русской консервативной риторики властей.*

Фразу о том, что Россия исчерпала лимит на революцию, мы слышим не просто каждый день, не просто с трибуны Государственной Думы или каких-то кремлевских кабинетов. Но это идея, которая постепенно становится новым здравым смыслом, объединяющим элиты и низы, объединяющим правителей и подданных. Это идея, которая противопоставляет органический путь развития общества, вбирающий в себя все многообразие предшествующей истории и традиций, которые через эту историю проходят, и насильственные попытки изменения, которые в русской версии консерватизма всегда имеют внешний характер.

Поэтому поворот консервативной риторики в 2012, особенно в 2014 годах совершенно не был случайным и произвольным. В этой риторике внешний вызов совершенно органически сочетался с внутренним вызовом. А проблема вокруг Крыма не была проблемой исключительно внешней политики. Она была и проблемой внутренней политики. Поскольку внешняя и внутренняя для русской консервативной риторики, для русской консервативной традиции сливаются воедино. Они никогда не представляют собой какую-то абсолютно сепарированную область.

Конечно, в центре российской консервативной традиции находится государство. Но государство находится в центре любой консервативной традиции, постольку-поскольку государство с точки зрения консерваторов представляет собой форму общества. Это тезис Роджера Скрутона. Соответственно, если это общество имеет определенные традиции, самоорганизацию, какие-то унаследованные такие органические представления о гражданских свободах, государство выражает и оформляет эти традиции, как, например, это происходит в британском, дотэтчеровском консерватизме.

В России, в русской консервативной традиции сама категория общества как того, что представляет некую предшествующую государству сущность, всегда отсутствовала. То есть на месте общества находится черное пятно, лихой человек, который бродит по ледяной пустыне, по выражению Победоносцева. То есть общество – это всегда что-то бесформенное, что-то угрожающее, что-то, что может прорваться именно в качестве чистого аффекта, разрушительного инстинкта, которые государство сдерживает.

Еще один очень важный момент российского консерватизма: государство – это сила, которая сдерживает хаос, которая сдерживает грядущий апокалипсис. Для того чтобы государство именно таким образом легитимировало свое существование, оно нуждается в постоянном воспроизводстве картин этого возможного апокалипсиса.

Тем не менее, так или иначе, такой сдерживающий характер связан с большинством консервативных традиций. Большинство консерваторов оправдывают государство не тем, что оно должно обеспечить счастье, комфорт своих граждан, не тем, что это государство рационально, а тем, что оно необходимо перед угрозой хаоса, перед угрозой беспорядка, перед угрозой обрушения всех ценностей, перед угрозой ложного

антихристианского, антихристово универсализма, ложного глобального порядка.

И в этом смысле антиглобалистская риторика, которую осваивают консерваторы в самых разных странах, включает в себя этот элемент сопротивления универсализму как ложному порядку, подменяющему собой действительную нравственную основу общества.

Можно найти огромное количество параллелей между консервативными дискурсами, консервативными интеллектуальными традициями в разных странах. Тем более что эти традиции оказывались тесно переплетены исторически друг с другом. Например, Жозеф де Местр написал значительную часть своих произведений, живя в Петербурге. Его идеи оказали большое влияние на русских консерваторов.

С другой стороны, для русского консерватизма всегда важным примером была Британия как господство консервативных принципов. И в этом отношении, кстати, когда здесь прозвучало замечание о Конституции, что как же так, о каком консерватизме может идти речь, когда у нас не уважается Конституция. Но, возможно, речь идет просто о другом понимании Конституции. Консервативное понимание Конституции, напомним, исходит из того, что Конституция – это не школьное сочинение, как де Местр выражался. Это не продукт рационального разума, который расписывает какие-то наиболее подходящие всем правила, а это некие знания о жизни, воплощенные в практиках, которые вообще, может быть, не написаны.

Это так называемая модель натуральной, органической или ненаписанной Конституции, воплощением которой для всех консерваторов являлась Британия. То есть в Британии нет Конституции, но все люди в принципе уважают закон, как будто бы он был написан. Но по факту все законы являются лишь продолжением их собственной практики.

И в этом плане когда в сегодняшней России вносится в Конституцию поправка о том, что российская Конституция не имеет момента конкретного исторического учреждения, это не Конституция 93-го года, 77-го или 36-го, а это Конституция, опрокинутая в предшествующее тысячелетие. Это ровно то, что имел в виду наш великий консервативный автор Федор Тютчев, когда он говорил, что Конституцией России является ее история. Это прямое воплощение этого тезиса, которое подразумевает и молчаливое согласие населения, которое, в общем, и так знает все правила игры, и так знает все понятия и обычаи отношений с властью, которые усвоены из его собственного опыта, а не из буквы тех или иных документов.

Все это я говорю для того, чтобы показать, что те паттерны, все выражения, те понятия, к которым прибегает сегодняшняя российская власть в своей консервативной риторике, имеют определенную историю, не являются случайными. И они во многом связаны с тем здравым смыслом, исторически изменчивым, который так или иначе укоренен в интеллектуальной традиции, культуре и т.д.

Мне очень понравился провокативный тезис Бориса Клюшникова о двух видах консерватизма. Я даже подумал, что Хантингтон, если бы остался с нами, мог бы написать книгу «Столкновение консерватизмов»...

Очень интересный был заход со стороны нескольких выступавших по поводу свободы и того, что либерально-демократический порядок в своем остервенелом желании защиты меньшинств затыкает рот тем, кто пытается эти свободы оспорить. Мне кажется, что, отстаивая ценности свободы высказывания, ультраправые, альтрайты и т.д. ведут более интересную игру. Хотя они этот аргумент тоже используют. Но их игра заключается в том, что они заимствуют риторику и аргументы противоположной стороны, которая связана с тем, что всякие ценности являются относительными и представляют собой арену борьбы, арену столкновения.

Поэтому если сегодня кто-то находится в меньшинстве и кто-то лишен голоса, даже если это консерваторы и ультраправые, они могут успешно использовать тот язык эмансипации и прав меньшинства, который до этого использовался левыми или самими этими меньшинствами. То есть они показывают, что любое нормативное представление о свободе в принципе является ошибочным. Потому что если им будет обеспечена свобода, за этим последует некое переопределение целей свободы.

В этом смысле мне всегда очень нравятся ребята. Такие выходят на оппозиционную демонстрацию в России, требуют демократических свобод с разными изменчивыми символами, похожими на руны, или какими-то интересными, плавающими, все время меняющимися от демонстрации к демонстрации. И они кричат один и тот же лозунг: отменить 282, то есть статью, которая затыкает им рот и лишает их права на высказывание. При этом дальнейшее изложение их программы и весь набор лозунгов, которые они могут предложить за этим, он может последовать только в том случае, если свобода слова будет обеспечена. То есть сначала отменить 282, а потом вы узнаете продолжение нашей программы, потом мы раскроем вам секрет того, за что мы выступаем на самом деле.

Конечно, отдельного внимания требует очень интересный тезис Андрея Олейникова о лицемерии. Он звучал еще в нескольких выступлениях относительно того, насколько консерваторы искренны в своих высказываниях. Возможно, существовал какой-то золотой век консерваторов, когда они действительно верили в то, что они говорили. Но сейчас мы живем в ситуации неких испорченных нравов, когда вместо консерваторов к нам приходят имитаторы - современные лидеры, которые, в общем, не скрывают собственного лицемерия, не скрывают несоответствия того, как они сами живут, и тех консервативных установок, которые они предлагают другим.

очень благодарен всем, кто сегодня пришел, всем, кто высказывался.

Читать еще: Из предисловия к книге Ильи Будрайтскиса *«Мир, который придумал Хантингтон и в котором живём все мы. Парадоксы консервативного поворота в России»* Издательство «Циолковский», М., 2020

Сегодня практически любой разговор о «консервативном повороте» предсказуемо обращается к причинам недавних электоральных коллапсов — таких, как британский референдум о выходе из ЕС, победа Трампа на президентских выборах в США или Болсонару в Бразилии. Все эти события принято связывать с феноменом правого популизма, политическая риторика которого придаёт новое звучание, казалось бы, давно известным формулам консерватизма: единству нации перед лицом внешних и внутренних врагов, защите привычного образа жизни и «традиционных» моральных ценностей и, конечно, ностальгии по утраченному славному прошлому.

Реакции либеральных аналитиков и журналистов на эти популистские прорывы, как правило, связывают их с торжеством аффектов над рациональным политическим поведением. Либеральная демократия, представляющая себя в качестве единственного легитимного наследника Просвещения и его установки на прогресс человеческого разума, как бы неожиданно сталкивается с вытесненным миром эмоций и предрассудков.

Эмоциональный консерватизм популистов предстаёт как свидетельство кризиса в более или менее сбалансированной политической системе, которая прежде успешно функционировала в западном мире на протяжении десятилетий. Представление о консервативном выборе как об антисистемном и радикальном заставляет взглянуть иначе на консерватизм как таковой. Ведь его устоявшееся понимание связано как раз с обратным значением: умеренностью, неготовностью к резким переменам, стремлением защитить то, что имеется в действительности и унаследовано из прошлого. Более того — сам призыв к защите ценностей либеральной демократии от атак популистов также может быть охарактеризован в качестве консервативного: зачем отвергать систему, уже доказавшую свои преимущества ради безответственных обещаний, за которыми не стоит ничего, кроме негативных эмоций? Неслучайно, что электоральными жертвами правого популизма становятся не только либеральные и левые центристы, но и традиционные консервативные партии (вроде немецкой ХДС или британских консерваторов), которые вынуждены радикализировать свою риторику, чтобы не потерять избирателей. Консерватизм, как сила разумного компромисса и политической стабильности, отступает перед напором консерватизма протеста и неудовлетворения существующим.

Однако если обратиться к консервативной интеллектуальной традиции, в таком конфликте нет чего-то принципиально нового.

Консерватизм в своей радикальной форме проявляет себя как живой и востребованный стиль, когда общество вступает в период кризиса. Кризис может быть растянут во времени, проходить через разные фазы, но реакция элит на него заставляет обращаться к фигурам консервативного стиля, чтобы выстраивать новые социальные коалиции и способы политического управления в период, когда старые уже не работают.

Важно помнить, что проявление консервативного «стиля мысли» в новых исторических эпохах никогда не исчерпывается простым повторением идей и образов прошлого. Подобно стилю в искусстве, стиль мысли находится в постоянном развитии, добавляя к своим первоначальным элементам новые черты. Такое качество стиля, в первую очередь, характерно именно для консерватизма — как течения, органически не связанного ни с одной социальной группой, а потому способного к постоянным модификациям в связи с меняющимися обстоятельствами. Иными словами — для того, чтобы быть консерватором, нет никакой необходимости иметь под ногами твёрдую почву в виде традиций и связей, унаследованных от прошлого. Наоборот, консерватизм всегда открыт к изменениям и включением в свой арсенал прежде не характерных для него идей.

Союз консерватизма и неолиберальной апологии «свободного рынка», впервые возникший в США и Великобритании на рубеже 1960–70-х гг., к 2000-м гг. распространился во всём мире, обретая, тем не менее, в каждом конкретном национальных условиях особые черты, связанные и с наличным балансом социальных сил и особенностями интеллектуальной традиции. В эту тенденцию вписывается и сегодняшний консервативный поворот в России, который стал результатом сложения обстоятельств экономического кризиса, генеалогии политической элиты (оформившейся в процессе приватизации и рыночных реформ 1990-х гг.) и актуализации богатого наследия русской консервативной мысли двух последних столетий.

Читать Предисловие полностью <https://syg.ma/@konstantin-kharitonov/i-budraitskis-paradoksy-konservativnogho-povorota-v-rossii-priedisloviie>